

*Реализм – из числа исконных властелинов  
великой области искусства.*

Брюсов

*Ночь будет страшная, и буря будет злая...*

Фет

*«Я позволяю себе сегодня в качестве свидетеля, не вовсе лишённого слуха и зрения и не совсем косного, указать на то, что уже январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года, что самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и предчувствий».*

Блок

Рубеж времён...

Так называемый «первый ряд»: феноменальные Л. Андреев, А. Ремизов, М. Кузмин, В. Вересаев, весь Серебряный век. С иной стороны, их будущие исследователи, толкователи и не менее почитаемые М. Бахтин, Г. Федотов, Р. Якобсон.

Все они: тонко, – каждый по-своему, – предощущали нечто неведомое, непознанное, для кого-то страшное, но неизменно глобального масштаба и великих перспектив, пусть и с разным гуманистическим наполнением.

И незаметно ветер крепкий  
Потопит нас среди зыбей,  
Как обесмысленные щепки  
Победоносных кораблей...

Майков

Пред их взорами возникали флоберовские картины падающих с неба чудовищ, вырастающих из земли, текущих со скал. Повсюду будто пылают глаза, «режут пасти, выпячиваются груди, вытягиваются когти, скрежещут зубы, плещутся тела. Одни

из них рожают, другие совокупаются, а то одним глотком пожирают друг друга». Картины, не похожие ни на что, виденное ранее. В целом, ничего подобного тому «бешеному ходу истории, подобно курьерскому поезду мчавшемуся, который на протяжении моей сознательной жизни мне пришлось наблюдать», – вторит Андрееву, с его стремительным предчувствием смены эпох, Викентий Вересаев, чьё собственное творчество выглядит не менее чем «отжатый дневник» деяний тех людей, их судеб в перекрестье собранных фраз, след в след: и людей, и дней – и дней и людей...

Не зря Вересаева называли летописцем русской интеллигенции – и не только.

Вот смотрите, отвлекшись, уважаемые друзья...

Идёт 2017 год. Но, как ни странно, отечество наше до сих пор пребывает в некоем пограничном, промежуточном состоянии после всеобъемлющей смены эпох 25-летней давности – с советской на капиталистическую.

Что уж говорить о «шламбауме веков» начала XX столетия, где Чехов, оттолкнувшись от синтеза высших небесных сил Толстого с Достоевским, а Серов – от наследия Репина, Поленова и Чистякова. В музыке разнохарактерные Скрябин с Прокофьевым, далее Рахманинов, – волоком да с проворотом втаскивали русское искусство в новый век, новое историческое мышление: реализм-натурализм – модернизм; декаданс – футуризм; экспериментаторство-импрессионизм – символизм; церковность – эротизм *etc.* (В памяти всплывает грандиозный их предвестник – триумvirат базаровско-реформаторских шестидесятых: Стасов, Репин, Мусоргский.) Обобщённо, конечно.

Так же как обобщённо, но чрезвычайно точно и цепко Н.К. Михайловский подытожил причины возвеличивания Достоевским излюбленного мотива страдания, к чему мы ещё вернёмся ниже: 1) уважение к существующему порядку; 2) жажда личной проповеди; 3) жестокость таланта!

Правда, одно дело сравнивать рождение веков, XX с XXI, и со-



В. Вересаев и Леонид Андреев.

1912 год

всем другая вещь – присутствовать при кардинальной замене вех. Как, например, в 1917-м и 1993-м. Замена общедуховных парадигм бытия, когда с исчезновением старых традиций закладываются, – и прочно, – традиции новые. В любом случае напитанные прошлым и только прошлым. Что особенно применимо к литературе и непосредственно творчеству, – не к политике.

А сравнить есть чего. Взять хоть 90-е годы обоих веков – девятнадцатого и двадцатого.

Вообще на рубеже столетий, в преддверии нового художественного этапа находились многие литературы мира, отличимые лишь национально-историческим колером, оттенком. 1890-годы сформировали в русском сознании отчётливость в постижении сомнений к устойчивости окружающего миропорядка. Это и выход из кризиса 1880-х гг. И глубинный повсеместный протест в ответ на правительственную реакцию. Это и мощно всколыхнувшийся социальный подъём 1890-х, – завершившийся по итогу Первой русской революцией 1905 – 1907 гг. В свою очередь подвинутой неоднозначно закончившейся недавно русско-японской войной.

Но вернёмся в увертюру века...

Вересаев периода зарождения XX в. – крайне известный персонаж. Гораздо более известный, чем многие сочинители литературно одарённые, – по собственному его непредвзятому выражению. Столь немалой популярности он обязан на редкость обострённому ощущению общественного пульса. И даже в московском кружке легального марксизма «Среда», по свидетельству Н. Телешова, на чьей квартире проводились собрания, Вересаеву доверяли абсолютно все. Он – главный распорядитель настроений коллектива. Очевидец, а отчасти и участник трёх «больших пожаров»: 1905 г., Февральского и Октябрьского 1917 г.; четырёх войн: русско-японской, Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной, Вересаев отсчитывал и фиксировал узловые маркеры идейных исканий рубежа веков.

С энтузиазмом начав с народничества, быстро переросшего в завуалированное «антинародничество» (разочаровался бесполезностью «хождения в народ», – И. Ф.), В.В. ещё в 1890-е гг. обратил внимание на марксистское движение. И, увлечшись им, посвятил целый ряд произведений приближающейся революции: «В России с неотвратимой неизбежностью развивается капитализм, бороться против его развития, как пытаются делать народники, бесполезно и смешно!» (из «Воспоминаний»).

Пристально наблюдая события 1905 г., В.В. в дальнейшем усомнился во всеилии революционного слома, выдвинув концеп-

цию «живой жизни», терминологический пафос коей лицезрел не столько в социальных преобразованиях действительности, сколько, – полемизируя с Ницше, Толстым и Достоевским (как полемизировал в юности с отцом), – в идее развития человека, его естества, духовности. В приоритете гуманистических ценностей, что с удовольствием перенял, вобрал впоследствии коммунистический «гуманизм» с его всесторонним «гармоничным развитием».

1905-й год Вересаев отчасти не принял. Виною тому – чрезмерный сдвиг в романтизм, ни в коем случае не оправданный наличествующим порядком. Однако в порубежном своём творчестве спрогнозировал дальнейшую судьбу страны, всегда обретаясь в эпицентре социально-литературных наслоений, перипетий. В рассказах «Загадка» (1887), «Прекрасная Елена» (1896), «На эстраде» (1900), «Мать» (1902), где, предваряя доктрины «живой жизни», говорит о силе влияния искусства на людей, невзирая на бытовые тяготы и лишения, учит воспитанию в себе способности зреть прекрасное в самых обыкновенных явлениях.

Февраль 1917-го встретил с надеждой, вскоре обернувшейся смущением, подтверждавшим былые опасения: происходящее вокруг въяве указывало на подлую попытку под революционным флагом, – стыдливо прикрывшим варварское отношение к личности, – заменить одну тиранию другой!

...Откуда ж ему, «провидцу», было знать, что под конец дней его зачислят в несгибаемые адепты советской власти, – наградив званием Сталинского лауреата.

Это, разумеется, грубо сказано.

В сущности же, будучи идеологически чуждым правящей партии, Сталинскую премию «За многолетние выдающиеся достижения...» он получил больше за художественную честность и «честное молчание» в старости – предвоенное, военное, – чем за прославление кого и чего бы то ни было. Ну, и за прошлые врачебные «Записки...», естественно, осуждавшие жесточайшую бесчеловечность экспериментов над людьми.

После разгромленного критикой «за клевету на СССР» романа «Сёстры» (1933 г.) В.В. практически безмолвствовал 12 лет. (Не высываясь, не печатаясь, насыщено переводил. Писал «Воспоминания». Собрал воедино разбросанный по годам и векам цикл «Невыдуманных рассказов».) Словно исполняя пророчество пятидесятилетней давности из повести «Без дороги», став для власти неким *enfant terrible* (букв.: ужасный ребёнок, – И. Ф.), отметив в примечаниях к повести, вторя А. Майкову: «Мне грозила опас-

ность превратиться в совершенно “бессмысленную щепку” когда-то “победоносного” корабля»:

*О, жить отверженным скитальцем,  
Друзья, поверьте, нелегко:  
Остатки лучших поколений,  
С их древней доблестью в груди,  
Проходим мёртвые, как тени,  
Мы как шуты на площади!*

Майков. 1852 г.

Хотя на исходе XIX века очарован пролетариатом: «...у духовной истории человечества две вершины: в искусстве – Л. Толстой, в науке – К. Маркс», – отмечал он в дневниках.

Симпатии к революционно настроенным рабочим В.В. выразил в автобиографических «Записках врача» (1895–1900) и повести «Два конца» (1899–1903). А в произведении «На повороте» (1901) определённо показана приверженность марксизму. При всём страстном увлечении пролетариатом Вересаеву казалось, что марксисты чересчур идеализируют современного человека, преувеличивая его социально активные потенции и недооценивая власть над ним слепо инстинктивных, биологических начал. Биология, в её высших проявлениях, – по мнению В.В., – непреложно побеждает в битве с классовым инстинктом.

Тут-то и обнаруживается водораздел меж лозунговым врагнём призывов и суконной правдой. Возникает внутренний слом и, как следствие, – онтологический «расход» в разные стороны писателя Вересаева с Вересаевым-марксистом.

Сознательно отстаивая принцип документализма в прозе, – невзирая на скептическое отношение к тому критики: дескать Вересаев лишь «добросовестный протоколист», – он создал индивидуальный художественнический метод, заключавший в себе достаточно широкою, – и тем ценною(!) – возможность типизаций и обобщения. Умный и зоркий мастер в своих рассказах вскрывает многие процессы, существенные для российской действительности, используя сюжетные приёмы от третьего лица, изнутри – путём внутренних монологов, мотивы «случайных» встреч, на самом деле отнюдь не случайных, подкрепляя изображение прямым публицистическим словом, органически совмещая, казалось бы, разнородные элементы художественной образности с мемуаристикой.

Краеугольный камень вересаевского шестидесятничества, как фундамента русского реализма, – это социально заряженный

синтез лирических тональностей Тургенева с очерковой репортажностью Успенского. Также влияние и помощь собрата по перу Горького – безусловно.

Почти ровесники, Вересаев и Горький – властители дум русского читателя, как означала пресса, – сочинители одной школы и закваски. Но абсолютно разных направлений.

Вересаевская «страшная способность группировать факты» (А. Амфитеатров) как бы передаёт эстафетную палочку эстетической логики от старшего коллеги Вересаева по сугубо утилитарному ремеслу доктора Чехова – сугубо романтику Горькому. Два непререкаемых литературных столпа, они словно обрамляют патетику В. В.

– ...теории для меня всегда были малоинтересны, – спорит Горький в корреспонденциях к Вересаеву (1899) по поводу сомнений в увлечённости последнего стабильно следовать каким-нибудь закономерностям. – Разве важны умственные построения, когда требуется освободить человека из тисков обывательщины, и разве нужно непременно на основании законов механики изломать старую, изработавшуюся машину?

– Конечно! – настаивает В. В. – Нужно только, чтоб теория объясняла и определяла степень важности жизненных фактов, а не развивала из самой себя паутину логических силлогизмов. Для меня она дорога именно потому, что, по моему мнению, машину даже изломать нельзя без знания механики.

На фоне Горького Вересаев совсем не романтик. Не столь ярок как явление из области возвышенных дарований. Не глядя на то, публичный резонанс, вызываемый произведениями Вересаева, – намного громче горьковских.

Достаточно вспомнить редкую по количеству участников и страстности тона дискуссию о «Записках врача» (ставших по-настоящему популярными, звёздными через три почти десятилетия после смерти автора, в 1970-х), где спор шёл не только о лечебной этике и состоянии медицины, но и о социальных корнях людской хвори: «...призрак всеобщего вырождения слишком резко бросается всем в глаза, чтобы не заставлять глубоко задумываться над ним. И над ним задумываются, и для его предотвращения измышляются очень широкие реформаторские проекты: предлагают искоренить в человеческом обществе всякую “филантропию” и превратить человечество в заводскую конюшню под верховым управлением врачей-антропотехников».

Медицинская среда тут же не преминула счесть себя оскорблённой – мол, доктор Вересаев выдал профессиональные секре-

ты. И мало того, акцентировал на святом! – на моменте постыдной беспомощности сословия эскулапов в борьбе с недугами.

Пресса же, наизворот, высоко оценила гражданский пафос «Записок», подтолкнув автора опубликовать возражения оппонентам: сначала в «Мире божьем» (1902), а потом и отдельной брошюрой «Ответ моим критикам» (Спб., 1903).

*Но вернёмся к результатам 1905 года.*

В повести «К жизни» (1908), очень типичной для Вересаева страницами сомнений и исканий, он весьма нелестно рисует кадетов, черносотенцев, либералов. Его симпатии – с той частью рабочих и интеллигенции, которая потерпела поражение.

Причину неудачи он видит в том, что восставший народ не умел распорядиться переходящей в его руки властью: едва почувствовал волю, в народе проснулся потомок «дикого, хищного зверья» (В. Смидович), что перечеркнуло первые успехи, которые В.В. подмечал по возвращении на родину из Маньчжурии с полей русско-японской войны, куда был мобилизован из запаса врачом.

«Там, глубоко под сознанием, есть что-то своё, отдельное от меня. <...> ...в глубине души каждого лежит, клубком свернувшись в темноте, бесформенный хозяин, ...могучий Хозяин моего сознания, он раб неведомых мне сил». Оставаясь сторонником слова существующего строя, писатель, перекликаясь с горьковскими дебатами, безудержно спорит с теми, кто продолжает считать революцию стержневым, чуть ли не единственным условием создания общества равных.

В итоге оба борющихся лагеря «К жизни» не приняли, как бы сейчас произнесли: «заблокировали», что только повысило градус дискуссии и разнокалиберных суждений.

Критика от похвалы «Записок врача» кардинально развернулась в сторону порицания «длиннейшей и скучнейшей» повести «К жизни» – свидетельства резкого изменения умонастроений среди молодёжи. Точнее даже – явного симптома революционного тупика: «Вересаев как бы видит, что эта усталость, эта общественная апатия – только внешняя кора. Что под нею, в одних местах глубоко, но всё же притихли живые ключи... которые ещё недавно так бурлили на глазах у всех», – пишет историк В. Боцяновский в «Литературных листках» («Новая Русь», 1909).

Что опять подвигает Вересаева дать ответный ход в форме уже аналитического исследования, объясняющего все свои ис-

кания и нахождения: «Живая жизнь», исследования, стоящего в миросозерцательных и эстетических позициях у истоков неореализма, в отличие от прежних дореволюционных социо-течений и пристрастий.

Положения, выраженные «живой жизнью», Вересаев отстаивал до последнего вздоха, пронизав ими – наряду с литературными произведениями – собственное бытие. В двух словах В.В. характеризовал программу как «Утверждение Жизни!».

В 1900-х дягилевский журнал «Мир искусства» печатает монографию Дм. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». Будучи в авангарде непримиримых полемических сражений всевозможных течений русской литературно-публицистической мысли, искавшей ответы на мучившие их вопросы: как жить дальше России, народу, интеллигенции, отдельному индивиду? – Вересаев не мог не откликнуться на спор экстремистов (читай – большевиков) с модернистами сквозь призму вечного диспута двух гениев, олицетворявших основные пласты-направления культуры: идеи плоти и духа.

В унисон с Мережковским В.В. утверждает, что нет писателей выше Толстого и Достоевского, в такой степени отчётливо персонифицирующих дух и плоть. Одновременно, – внутренне духовно близких, – внешне крайне противоположных в оценках смысла происходящего. И в этой противоположности Вересаев кардинально разнится с ощущениями Дм. Мережковского, вследствие принципиально различного понимания природы *Homo sapiens*, ценностных возможностей-приоритетов и... элементарного счастья. (Не воспринимая всерьёз сверх-, над-сексуальные постулаты Мережковского с его божественными гермафродитами.)

Интересно разложить достоевско-толстовскую мнемонику человеческих душ в видении Викентия Викентьевича Вересаева по полочкам. Что мы сейчас и сделаем. Итак...

*Фёдор Михайлович*

Человеческая душа в люциферовом плену, – субстанция добра-зла, где по-флоберовски корчатся в истерике и бьются в судорогах два живых равновластных Хозяина: добрый и злой. Злой Хозяин обязательно побеждает доброго, оттого что врождённый инстинкт болезненности, ущербности и юродства преодолеть нельзя. Единственно – посредством немислимых страданий. И Достоевский, наслаждаясь властью рокового решения, заставляет своих героев страдать неимоверно.



Но страдание – увы, мнимое освобождение. В момент горестной безнадёги страдание неумолимо и неминуемо преобразуется в Хаос.

Хаос – суть экстаз, оргийная вселенная, освещённая ярким светом... пустоты, никчемности и отчаяния. Там властвует Дьявол, – и Достоевский намеренно кладёт, исподволь «подкладывает» несчастных в каторжанский лазарет разрушения и печали: богадельню усталых и немощных.

Выхода оттуда нет.

Полагая, что Достоевский стопроцентно убеждён в изначальной греховности человеческой души, В.В. выводит отсюда его якобы неверие в кардинальную трансформацию человека падшего. А также отрицание революционной идеи.

***Отсутствие жизни от безбожия! – говорит Достоевский.***

*Лев Николаевич*

Глава о нём названа «Да здравствует весь мир!» – Толстой возвращает человека в первозданность, в Природу – *Nature*, – которую человечество утратило на пути к исканию и обретению рассудка.

Надобно вернуться к Природе как таковой, благой и мудрой, которую не «нам учить и не нам направлять», – и она сама возвратит тебе утерянную сущность и отдаст тебя миру, где властвует Добро.

Толстовская доминанта естества – жизнь есть всё, жизнь есть Бог – противостоит экспериментам героев Достоевского, постоянно извлекающих «квадратный корень» из Зла.

Викентию Викентьевичу представляется иллюзорной детская вера Толстого в исконную святость человеческой души, подразумевающая лишь внутреннее преодоление окружающего Зла с большой буквы: «...жив только тот, кто силою своей жизненности стоит выше ужасов и страданий. Для кого на свете нет ничего страшного. Для кого мир прекрасен, несмотря на ужасы, страдания и противоречия», – говорит Вересаев.

***Безбожие от отсутствия жизни! – говорит Толстой.***

Наоборот, сила Толстого-художника зеркально отражается слабостью Толстого-теоретика: эти вечно запредельные умствования, грубое навязывание рационализма, оборачивающегося искусственно сконструированными схемами!

Впрочем, искусственной схемой назвала критика и саму «Живую жизнь» Вересаева. Дескать, автор упростил взгляд на Достоевского и Толстого рефлексией персонифицированных настроений и мыслей о самом важном, о «тождестве жизни». Что да, то да! – восклицаю я. То было правдой.

То было профессиональной, ремесленной правдой и для Мережковского, и затронутого выше Михайловского, автора известнейшей статьи «Жестокий талант» – о «знаменитом покойнике» Достоевском.

В контексте возвышения символистами «болезненности» предметов филологического, научного анализа Вересаев, – подобно многим несший в себе столь характерный для безвременья дионисизм, – обозначал собственное *credo* за счёт некоторого укрупнения одних сторон Достоевского с Толстым и нивелирования других.

Так чётче обрисовывалось критическое восприятие исследуемого предмета: «бог счастья»-Толстой и «бог страдания»-Достоевский – «Аполлон и Дионис»: название третьей главы «Живой жизни» – о Ницше, отнюдь не верящего в религиозное утешение, а лишь в земное: «...нутро у Ницше было “дионисово”». Но Ницше – это Достоевский, проклявший своё нутро и отвернувшийся от него», – заключает Вересаев.

Глава о Ницше и биографичная четвёртая глава о Толстом писались, видоизменялись и с перерывами издавались с 1914 вплоть до 1921-го, что чуть за рамками повествования о рубеже веков Викентия Вересаева. Поэтому позволю себе закруглиться словами упомянутого вначале Флобера, столь любимого героем нашей статьи: «Я опять возвращаюсь в мою бедную жизнь, такую плоскую и спокойную, в которой фразы являются приключениями, в которой я не рву других цветов, кроме метафор».

Наиболее дорогой для писателя книгой «Живая жизнь», показывающей водораздел и творческого, и житейского пути (3 главы вышли к 1915-му, ровно через 30 лет после первой публикации – и ровно за 30 до кончины), мы и завершим юбилейный, далеко не полный обзор деяний «Пушкина в жизни» – Викентия Викентьевича Вересаева.

2017 г.

Киров